

А. Ф.
ПИСЕМСКИЙ

Избранное



Алексей Феофилактович Писемский

Старческий грех

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=661215

*А.Ф.Писемский. Собр. соч. в 9 томах. Том 2: Издательство «Правда»,
биб-ка «Огонек»; М.: 1959*

Аннотация

«Если вам когда-нибудь случалось взбираться по крутой и постоянно чем-то воняющей лестнице здания присутственных мест в городе П-е и там, на самом верху, повернув направо, проникать сквозь неуклюжую и с вечно надломленным замком дверь в целое отделение низеньких и сильно грязноватых комнат, помещавших в себе местный Приказ общественного призрения, то вам, конечно, бросался в глаза сидевший у окна, перед дубовой конторкой, чиновник, лет уже далеко за сорок, с крупными чертами лица, с всклокоченными волосами и бакенбардами, широкоплечий, с жилистыми руками и с более еще неуклюжими ногами...»

Содержание

I	4
II	10
III	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Алексей Феофилактович
Писемский
Старческий грех
Совершенно романтическое
приключение

I

Если вам когда-нибудь случалось взбираться по крутой и постоянно чем-то воняющей лестнице здания присутственных мест в городе П-е и там, на самом верху, повернув направо, проникать сквозь неуклюжую и с вечно надломленным замком дверь в целое отделение низеньких и сильно грязноватых комнат, помещавших в себе местный Приказ общественного призрения, то вам, конечно, бросался в глаза сидевший у окна, перед дубовой конторкой, чиновник, лет уже далеко за сорок, с крупными чертами лица, с всклокоченными волосами и бакенбардами, широкоплечий, с жилистыми руками и с более еще неуклюжими ногами. Это был бухгалтер Приказа Иосаф Иосафыч Ферапонтов. На нем, как и на прочей канцелярии, был такой же истасканный вицмундир,

такие же уродливые, с сильно выдавшимся большим пальцем, сапоги, такие же засаленные брюки, с следами чернил и табаку на коленях, и только в довольно мрачном выражении лица его как-то не было видно того желчного раздражения от беспрестанно волнующейся мелкой мысли, которое, надобно сказать, было присуще почти всей остальной приказной братии. Видимо, что бухгалтер думал и размышлял о более возвышенных и благородных предметах, чем его подчиненные. Несмотря на это, кажется бы, преимущество с его стороны, он собственно за свою наружность и был не совсем любим начальством. Все новые губернаторы, вступая в должность и посещая в первый раз Приказ, получали об нем самое невыгодное мнение, может быть, потому, что в то время, как все прочие чиновника встречали их с подобострастно-веселым видом, один только Иосаф стоял у своей конторки, как медведь, на которого шли с рогатиной.

– У вас бухгалтер, должно быть, скотина, – замечал обыкновенно губернатор члену Приказа.

– Для службы-то, ваше превосходительство, очень уж полезен, – отвечал тот на это тоном глубокого сожаления, – у нас тоже дело денежное: вот, бывало, и предместник вашего превосходительства, как за каменной стеной, за ним спокойно почивать изволили.

– Гм!.. – произносил глубокомысленно губернатор, и только этим бухгалтер спасался на своем месте. Каждый день, с восьми часов утра до двух часов пополудни, Ферапонтов си-

дел за своей конторкой, то просматривая с большим вниманием лежавшую перед ним толстую книгу, то прочитывая какие-то бумаги, то, наконец, устремляя печальный взгляд на довольно продолжительное время в окно, из которого виднелась колокольня, несколько домовых крыш и клочок неба. О чем бухгалтер думал в это время, – сказать трудно; но по всему заметно было, что мысль его была шире того небольшого пространства, в котором являлся ему божий мир сквозь канцелярское окно, шире и глубже даже тех мыслей, которые заключались в цифрах лежавшей перед ним книги.

Часов с одиннадцати обыкновенно в Приказ начинала собираться публика, и первые являлись купцы с вкладами. Случалось так, что какой-нибудь из них, забежав наскоро в Приказ, тяжело дыша и с беспокойными глазами, прямо обращался к бухгалтеру:

– Член здесь-тко-с али нет?

– У губернатора, – отвечал Феррапонтов.

– Эхма-тка! – говорил купец, прищелкнув языком и почесав в затылке. – Деньжонки бы внести надо... задержат, пожалуй!.. А делов-то... делов...

– Давайте, – говорил ему на это лаконически Иосаф, и купец, нимало не задумываясь, вытаскивал из кармана иногда тысяч пять, шесть, десять серебром и отдавал их ему на руки, твердо уверенный, что завтра же получит на них билет.

Все помещики, имения которых были заложены в Приказе, тоже знали Иосафа и тоже прямо обращались к нему.

Более смиренные из них даже чувствовали к нему некоторый страх.

– Асаф Асафыч? А Асаф Асафыч? – говорили они, подходя не без робости к его конторке (бухгалтер не любил на первый зов откликаться). – А что имение мое назначено в продажу? – заключал проситель уже жалобным голосом.

Ферапонтов взглядывал на него. Имени он почти ни у кого не спрашивал и каждого узнавал по лицу.

– Сахаровых? – произносил он, развертывая толстую книгу.

– Сахаровых, – отвечал робко помещик.

– Семнадцатого апреля назначено в продажу, – отвечал Ферапонтов.

Помещик окончательно терялся.

– Да как же это, ей-богу, вот те и раз! – произносил он почти со слезами на глазах.

Бухгалтер иногда, после нескольких минут молчания, снова развертывал книгу и, просмотрев ее внимательно, произносил:

– Перезаложите. Перезаложить можно.

– Можно? – спрашивал помещик с расцветающим лицом.

– Можно. А вы и не знали того? – говорил Иосаф Иосафыч: в голосе его слышалась легкая насмешка.

Помещик от радости почти вприскок уходил из Приказа.

– Пред санным ковчегом скакаше играя!.. – произносил

ему вслед столоначальник первого стола, большой шутник и зубоскал. При этом молодые писцы самым искренним образом фыркали себе под нос, а которые постарше, улыбались и качали головами. Один только Иосаф в подобных случаях хоть бы бровью поводит. Он вообще с канцелярией никогда не вступал ни в какого рода посторонние разговоры и был строг: в особенности почти что гонению с его стороны подвергались молодые, недоучившиеся дворяне, поступившие на службу так только, чтобы вилять от нее хвостом. В конце почт каждого месяца он вдруг входил в присутственную комнату и начинал мрачно смотреть в окно.

– Что вы тут: на что смотрите? – спрашивал его неперемѣнный член.

– Так, ни на что-с, – отвечал Иосаф и потом, после короткого молчания, прибавлял: – Петрова бы вот надо совсем из службы выгнать.

– А что такое? – спрашивал неперемѣнный член с некоторым испугом. Петров был, как известно, личным протеже начальника губернии.

– А то, что уж ружье завел, – отвечал Ферапонтов.

– Скажите, пожалуйста! – произносил неперемѣнный член горестно-удивленным тоном и звонил.

– Позвать Петрова! – говорил он, и Петров, очень еще молодой человек, с вольнодумно отпущенными усиками и с какою-то необыкновенно длинною шеей, в тоненьком, легоньком галстуке и в прюнелевых ботинках вместо сапог, являл-

ся.

– Вы уж ружье завели? – спрашивал его неперменный член.

Петров вспыхивал до самых ушей.

– Я, помилуйте, Михайло Петрович, взял только у товарища на подержание... Помилуйте-с! – отвечал он прерывисто нетвердым голосом.

– На подержание вы взяли!.. – возражал ему бухгалтер. – Целый день продуваете да замок отвинчиваете... Что-нибудь одно: либо за утичьими хвостами бегать, либо служить.

– Я служить стараюсь! – говорил Петров, обращаясь более к неперменному члену.

– Кабы старались, так бы не то и было, – возражал ему снова бухгалтер. – Мать-то, этта, приезжала и почесть что в ногах валялась и плакала: последнюю после отца шубенку в три листика проиграли!.. Еще дворянин! Точно зараза какая... только других портите и развращаете.

– Что ж, маменька, конечно что, вольна все говорить, – отвечал Петров, опуская невиннейшим образом глаза в землю.

– Все на вас говорят! – произносил с досадою Иосаф и уходил из присутствия.

За такого рода суровость, а главное, я думаю, и за образ своей жизни, он и прозван был от своих подчиненных «отче Иосафий».

Но в самом ли деле этот человек был таков?.. Нет, и тысячи раз нет!!!

II

Как ни давно это было, но мы еще очень хорошо помним сквернейший сентябрьский день, сырой, холодный; помним длинную залу, тоже сырую и холодную, с распростертыми над нами по потолку ее всевозможными богами и богинями Олимпа, залу почти без всяких следов жилья человеческого. Посредине ее стоял огромный стол, покрытый красным сукном. По двум стенам шли сплошь шкафы с книгами и с стоявшими наверху их греческими мудрецами. Тщетно старался я прочитать заглавия некоторых книг и ничего не понял. Какая-то экзегетика, герменевтика¹ и тому подобное... бог знает что такое. По третьей стене, под портретом государя, нарисованного в короне и порфире, стояли мы, человек тридцать мальчиков, в новеньких вицмундирчиках и с глубокой тоской на сердце от грядущей нам будущности. По четвертой стене, у окон, размещались на креслах наши родители. Маменька Сокальского, например, очень полная и нарядная дама, чрезвычайно важничала: развалившись в креслах, она с таким видом играла своей лорнеткой, которым явно хотела показать, что она делает величайшую честь этому месту, в которое, по чувству материнской любви, решилась прийти и просидеть полчаса. Папенька Арнаутова,

¹ Экзегетика, герменевтика – здесь богословские дисциплины, в которых рассматривались правила и приемы толкования текстов священного писания.

кривой помещик, сдавал сына на выучку, кажется, точно с таким же чувством, с каким он засыпал и рожь на мельнице. «Было бы-де всыпано, а там и баста: само смелет как надо!» Вице-губернаторских детей, двух братьев, привел худощавый француз-гувернер и, видимо, не желая, чтобы они смешались с плебеями, поставил их вдали от нашей группы, а сам присел на окне и с каким-то особенным эффектом вывернул голени у ног. Я с большим любопытством смотрел на его узенькие, нежнопепельного цвета брюки, и невольно, сравнив их с сильно вытянутыми на коленях штанами учителя математики, а также и с толстыми, сосископодобными ногами учителя немецкого языка, я тут же убедился, что одна только французская нация достойна носить узенькие панталоны, тогда как прочему человечеству решительно следует ходить в шароварах. Детей жандармского полковника, тоже двух братьев, привел солдат-жандарм и почему-то очутился тут же в зале между родителями. Он преспокойно стоял в простенке и стеснялся отчасти только тем, что нос его, более привыкший находиться на улице и в холодных сенях, чем в теплых апартаментах, очень уж разнежился, так что он беспрестанно принужден был подтирать его своей белой рукавицей. Вблизи от него и даже очень дружелюбно обращаясь к нему с разного рода семейными разговорами, сидел секретарь гражданской палаты, тоже приведший сынишку, с отгнившими почти от золотухи ушами.

– Ты, верно, дядькой при детях? – говорил он.

– Никак нет, ваше благородие, я на кухне, при поварах; поварам подсобляю, – отвечал жандарм.

– Так, так... а что полковница-то родила али еще нет?

– Никак нет, ваше благородие, ждется еще пока... что бог даст.

– Так, так! – заключал секретарь и начинал играть серебряной табакеркой, внушавшей сильное подозрение, что это был дар за измену Фемиде. Между всеми этими лицами, надобно сказать, более всех поразил мое детское внимание мизерный чиновничешко в поношенном вицмундиришке, в худеньких штанах и в дырявых сапогах. Он беспрестанно ежился, шевелился, как будто бы его сейчас только круто посолили и посыпали сверху перцем. Он то садился на самый краешек стула, то вскакивал и подбегал к секретарю, кланялся перед ним, что-то такое рассказывал ему, и тот на все это отвечал ему с обязательным полупрезрением. Не ограничиваясь секретарем, чиновничешко относился даже к madame Сокальской, но та уж ему ничего не отвечала. От родителей чиновник перебежал к нашей группе и, обдав нас сильным запахом водки, прямо обращался к довольно шершавому малому лет шестнадцати, одетому тоже в вицмундирчик; но боже мой! В какой вицмундирчик: сшитый не только что из толстого, но даже разноцветного сукна, так что туловище у него приходилось темносинее, а рукава голубые. Чиновничешко с самым строгим видом что-то такое, должно быть, внушал ему. Мальчик, в свою очередь, тоже строго

смотрел на него и сохранял упорное молчание. Вошли директор (черноволосый мужчина, с необыкновенно густыми и длинно отросшими бровями), и за ним, как гиена, выступал сутуловатый и как бы вся и все высматривающий инспектор. Мы все невольно сделали движение вытянуть руки по швам. Родители привстали. Жандарм проворно отнял от носу белую рукавицу. Чиновничшко поклонился ученому начальству самым унижительно-подлым образом. Директор начал читать список поступивших в гимназию:

– Павел Аксанов?

– Я! – пискнул белокуренький мальчик.

– Гавриил Беляев?

– Я! – отвечал еще тоньше уже черноволосый мальчик.

– Михаил Гавренко?

– Я! – отвечал тоже тонко и тоже брюнетик.

Словом, постоянно почти слышались нежные дисканты, но вдруг директор, несколько замявшись в языке, произнес:

– Иосаф Ферапонтов?

– Я! – отвечал на это почти мужской уже бас, так что мы все невольно оглянулись.

Это откликнулся мальчик с разными рукавами. Директор тоже, кажется, был озадачен.

– Господин Ферапонтов? – повторил он.

– Я-с, – отвечал мальчик тем же возмужалым голосом.

– Подойдите сюда.

Ферапонтов подошел.

В это время, несколько сбоку, к директору приблизился и чиновничешко.

На лице почтенного педагога вдруг изобразился ужас. Пожимая плечами и все более и более закидывая голову назад, он произнес:

– Что такое? Что такое? Где мы? Не в эфиопских ли степях? Какие у вас рукава? Гимназист вы или арлекин?

Все лицо мальчика загорелось стыдом. Видимо, что это была самая больная для него струна. Вместо него стал отвечать чиновничешко.

– Ну, батюшка, что ж? Виноват, не имею состояния. Не погубите, благодетель: не имею чем одеть лучше, – проговорил он – и ни много ни мало бух директору в ноги.

Я видел, что мальчик при этом вздрогнул. Директор тоже возмутился подобным самоунижением.

– Встаньте, я не бог ваш и не царь! – произнес он недовольным голосом и потом, обращаясь к мальчику, прибавил: – Который вам год?

– Шестнадцатый, – отвечал тот.

Директор несколько времени смотрел ему прямо в лицо самым оскорбительным образом.

– Гм!.. Шестнадцатый год и всего только в первом классе! – произнес он насмешливо. – Зачем уж было в таком случае поступать к нам и своей шерстью портить целое стадо?

– Говорено было, благодетель, ему это, так ведь упрямец! – подхватил вместо сына чиновничешко, чуть не до

земли кланяясь директору, – лучше бы в службу шел да помогал бы чем-нибудь отцу, а я что? Не имею состояния, – виноват!

– Ступайте на свое место! – обратился директор к мальчику.

Тот пошел. Как ни старался он смигнуть слезы, но они против воли текли по его щекам!

Когда нас распустили и мы стали в прихожей надевать наши шинельки, мне очень хотелось посмотреть, что надеет на себя Ферапонтов, но он пошел так, в одном только вицмундирчике. «Так вот отчего, – подумал я, – от него так пахнет сыростью. Он и в гимназию, видно, пришел насквозь пробитый дождем». Чиновничешко, накинув на себя какое-то вретище вместо шинели, поплелся тоже за ним и начал опять ему что-то толковать и внушать. Мальчик пошел, потупя голову.

Очень скоро после того между всеми нами узналось, что гадкий чиновничешко был некогда служивший в консистории архивариус, исключенный из службы за пьянство и дебоширство, а разношерстный Ферапонтов (прозвище, которое мальчик получил на самых первых порах) был родной сын его. Жили они в слободе, версты за четыре от гимназии, в маленьком, развалившемся домике, и мальчик, говорят, даже стряпал у отца за кухарку. Каждое утро он являлся в класс, обливаемый потом, хотя по-прежнему ходил в одном только вицмундирчике. Нанковая чуйка, с собачьим ворот-

ником, появилась на его плечах только в начале ноября. Он приходил обыкновенно с обедом, и мне всегда очень хотелось узнать, что такое он приносил с собою, старательно завернутое в сахарную бумагу. Мы все, например, очень хорошо знали, что детям жандармского полковника, с тем же жандармом, присылали всегда из родительского дома и котлет и жареной курицы, вкусный запах которых, пробиваясь из оловянной миски, сильно раздражал наши голодные ноздри; но что ел Иосаф и где совершал этот акт, никому было не известно!

Однажды мы сидели в классе математики. Учитель ее, жестокосердый меланхолик, сидел погруженный в глубокую задумчивость. Собственно учением он нас не обременял, но наблюдал более всего тишину и спокойствие в классе. Мы все сидели как мухи, прихваченные морозом. Вдруг белобрысый Аксанов, оказавшийся ужасно гадким мальчишкой, встал.

– Никита Григорьевич, – начал он пищать своим тоненьким голосом, – позвольте мне пересесть. С Ферапонтовым сидеть нельзя-с: он луку наелся.

Учитель мрачно и вопросительно взглянул на него.

– Луком дышит на меня-с, сидеть около него невозможно-с, – объяснил Аксанов.

Учитель, наконец, понял его.

– Ферапонтов, подите сюда, – проговорил он.

Ферапонтов, весь вспыхнув, подошел.

– Дохните на меня.

Ферапонтовдохнул.

– Фай! – произнес учитель, проворно отворотив нос. – И не стыдно вам это?.. Не стыдно благородному мальчику делать такие гадости?

Ферапонтов молчал.

– Подите на колени.

Ферапонтов, не поднимая глаз, пошел и встал, а учитель снова погрузился в свою задумчивость.

С ударом звонка Ферапонтов встал и сел было на свое место, но Аксанов опять к нему привязался:

– Луковник, луковник! – дразнил он его, вертясь перед ним.

– Отстань! – повторял ему несколько раз Иосаф, с тем терпеливым выражением, с каким обыкновенно большие собаки гоняют маленьких шавок.

Но Аксанов не унимался.

– Луковник, луковник!.. Разноперый луковник!.. – говорил он и дернул Ферапонтова за его голубой рукав.

Движения этого было достаточно. Я видел, как лицо Иосафа мгновенно вспыхнуло, и в ту же минуту раздался страшнейший удар пощечины, какой когда-либо я слыхивал, и мне кажется, что в этом беспощадном ударе у Иосафа выразилась не столько злоба к врагу, сколько ненависть и отвращение к гадкому человечешку. Аксанов перелетел через скамейку. Из рта и из носу его брызнула кровь. Заревев во все

горло, он бросился жаловаться к инспектору, от которого и снизошло приказание: стать Ферапонтову на колени на целую неделю. Иосаф снес это наказание, ни разу не попытавшись ни оправдаться, ни попросить прощения. А между тем учиться он начал решительно лучше всех нас: запинаясь, заикаясь и конфузясь, он обыкновенно начинал отвечать свои уроки и всегда их знал, так что к концу года за прилежание, а главное, я думаю, за возмужалый возраст, он и сделан был у нас в классе старшим. Как теперь помню я его неуклюже-добродушную фигуру, когда он становился у кафедры наблюдать за нашим поведением, повторяя изредка: «Пожалуйста, перестаньте, право, придут!» В черновую книгу он никогда никого не записывал, и только когда какой-нибудь шалун начинал очень уж беситься, он подходил к нему, самолично схватывал его за волосы, стягивал их так, что у того кровью наливались глаза, и молча сажал на свое место, потом снова становился у кафедры и погружался в ему только известные мысли.

С третьего класса нас вдруг начали учить маршировать и кричать в один голос: «Ура!» и «Здравие желаем!» Инспектору (особе, кажется бы, по происхождению своему из духовного звания) чрезвычайно это понравилось. Он мало того, что лично присутствовал на наших ученьях, но и сам пожелал упражняться в сих экзерсициях и нарочно пришел для этого в одну из перемен между классами.

– Погодите, дети, – сказал он, сделав нам лукавую мину, –

я взойду к вам, аки бы генерал, и вы приветствуйте меня единогогласным ура!

Распорядясь таким образом, он ушел.

– Не вставать! Не откликаться ему! – раздалось со всех сторон.

Иосаф почесал только голову.

Между тем два сторожа торжественно отворили дверь, и инспектор в полном мундире, при шпаге, с треугольной шляпой и с глупо улыбающимся лицом вошел.

– Здравствуйте, дети! – произнес он добродушнейшим голосом.

Никто ни слова.

Инспектор позеленел.

– Говорят вам, здравствуйте, скоты этакие, – повторил он.

Новое молчание.

– А! Заговор! – мог только выговорить он и ушел.

«В третьем классе бунт, заговор!» – разнеслось страшным гулом по всей гимназии. «Завтра будет разборка», – послышалось затем, и действительно: на другой день нас позвали в залу с олимпийскими богами. Проходя переднюю, мы заметили всех трех сторожей в новых вицмундирах и с сильно нафабранными усами. Между ними виднелась и злоеющая скамейка, а в углу лежало такое количество розог, что их достало бы запороть насмерть целую роту. Сердца наши невольно екнули. Когда мы вошли в залу, директор, инспектор и весь сонм учителей был уже в сборе. Суровое выраже-

ние лиц их не предвещало ничего доброго. Нас построили в три шеренги.

– Поступок ваш, – начал директор, насупливая свои густые брови и самым зловещим тоном, – выше всякой меры, всякого описания!.. Это не простая шалость, которую можно простить и наказать. Тут стачка!.. Заговор!.. Это действие против правительства... шаг против царя. Вы все пойдете под красную шапку. Не рассчитывайте на то, что вы дворяне и малолетки. Мы всех вас упечем в кантонисты!²

Произнося последние слова, он приостановился и несколько времени наблюдал эффект, который произвел этой речью. Что это за действие против правительства и почему это шаг против царя, мы решительно ничего не поняли, но сочли за нужное тоже иметь, с своей стороны, лица мрачные.

– И только святая обязанность, – продолжал директор, – которую мы, присягая крестом и евангелием, приняли на себя (при этих словах он указал на образ)... обязанность! – повторил он с ударением. – Исправлять вашу нравственность, а не губить вас, заставляет нас предполагать, что большая часть из вас были вовлечены в это преступление неумышленно, а потому хотим только наказать зачинщиков. Извольте выдавать их.

Прошло несколько минут, но ответа на этот вызов не по-

² Кантонисты – в XIX веке дети, отданные на воспитание в военные казармы или военные поселения и обязанные служить в армии солдатами.

следовало.

– Господин Ферापонтов, выдьте на середину! – проговорил директор, как бы на что-то решившись.

Ферапонтов вышел.

– Вы, как старший класса, должны отвечать первый.

Иосаф сначала посмотрел ему в лицо, потом отвел глаза в угол на печку, потупил их и ни слова не отвечал.

– Я вас опрашиваю: кто зачинщики? – повторил директор.

– Я не знаю-с, – проговорил, наконец, Ферापонтов.

– А! Не знаете! Розог! – произнес директор, сколько только мог спокойным голосом.

Иосаф слегка побледнел; но молчал.

– Розог! – повторил директор уже более грозным голосом.

Учитель чистописания и рисования поспешил исполнить его приказание. Вошли сторожа с скамейкой и с лозами.

– Я вас спрашиваю в последний раз: кто зачинщики? Извольте или отвечать, или раздеваться.

Ферапонтов не делал ни того, ни другого.

– Раздеваться! – крикнул, наконец, директор, стукнув по столу.

– Нет-с, я не дамся сечь, – произнес вдруг Иосаф.

Мы все невольно вздрогнули. Директор откинулся на задок кресла. Инспектор сделал только жест удивления руками, а законоучитель возвел очи свои горе и вздохнул.

– Раздеть его! – произнес директор уже шипящим голосом.

Два сторожа подошли к Ферапонтову.

– Что ж, ваше благородие, разболокайтесь! – проговорил один из них и взял было его за борт сюртука. Но Иосаф в ту же минуту ударил его наотмах по морде, а другого толкнул в грудь, так что тот едва устоял на ногах, а сам, перескочив через скамейку, убежал. Двое остальных сторожей погнались за ним. Мы слышали их тяжелые и быстрые шаги по коридору.

Весь ученый комитет поднялся на ноги. Директор и инспектор несколько времени стояли друг против друга и ни слова не могли выговорить, до того их сердца преисполнились гнева и удивления. Учителя, которые были поумней, незаметно усмехались. Прошло по крайней мере четверть часа тяжелого и мрачного ожидания. Наконец, двое запыхавшихся сторожей возвратились и донесли, что Ферапонтов сначала перескочил через один забор, потом через другой, через третий и скрылся в переулке.

– А! Хорошо! – проговорил директор, снова совладев собой. – Хорошо! – повторил он, и затем началась разборка; стали сечь через четвертого пятого: Ахтуров указал на Вистулова и Пеклиса; Вистулов сказал, что зачинщиками были Кантырев и Жилов; Жилов оговорил Пеклиса; словом, все сподличали, и всех пересекли. Обильное количество розог было сполна употреблено в дело. Мы все разошлись по домам, кто прихрамывая, кто всхлипывая, и все с глубоко ожесточенными сердцами, а когда на другой день нас снова по-

тянули в залу, мы дали друг другу смертельную клятву поступить так же, как и молодец Ферапонтов. Но нас ожидало совершенно иное зрелище. Директор, инспектор и учителя сидели по-прежнему на своих местах. По-прежнему в зале была скамейка и розги, а несколько в стороне три сторожа держали связанного по рукам и ногам Ферапонтова. Отец его, еще в более изорванном вицмундиришке, был тут же и беспрестанно кланялся директору.

– Я, батюшка-благодетель, только и прошу о том: накажите его, подлеца, хорошенько!.. Хорошенько его!..

– Вы будете видеть, как этот господин будет примерно наказан, – объяснил нам коротко директор и сделал знак рукой сторожам.

Иосафу на этот раз не было никакой возможности сопротивляться. С ним мгновенно распорядились. Оказалось, что на нем белья даже порядочного не было: полинялая ситцевая реденькая рубашонка висела на нем хлопьями, и больше ничего. Наказание последовало действительно примерное. До сих пор я не могу забыть этого возмущающего душу зрелища. Бедного мальчугана привязали крепчайшими веревками за руки, за голову, за ноги к скамейке. Двое огромных сторожей начали его наказывать. Директор с включенными волосами и с расвирепевшим лицом встал на ноги.

– Говорят вам, назовите зачинщиков и просите прощения! – говорил он по временам задыхающимся от бешенства голосом, но, не получая ответа, махал рукой, и сторожа про-

должали свое дело.

Отец Иосафа тоже повторял за ним: «Хорошенько его, хорошенько!» Иногда он подбегал к солдатам и, выхватив у них розги, сам начинал сечь сына жесточайшим образом. Все это продолжалось около получаса. Ручьи крови текли по полу. Иосаф от боли изгрыз целый угол скамейки, но не сказал ни одного слова и не произнес ни одного стога.

– Бросьте этого скота, – проговорил, наконец, директор.

Ферапонтов-старик бросился ему в ноги, умоляя его: «Батюшко, не погубите, отец мой, благодетель, не погубите навеки!» И когда директор пошел из залы, он пополз за ним на коленях.

Иосафа тоже на той же скамье куда-то унесли и нас выпустили.

Три недели потом он не являлся. Мы слышали, что он больной лежит в пансионской больнице, и когда пришел, то был бледен и заметно похудел. О том, что с ним случилось, он почти ни с кем не проговорил ни слова, хоть и был решительно героем денька. Не говоря уж об нас, маленьких, начавших смотреть на него с каким-то благоговением, даже шестиклассники и семиклассники приходили и спрашивали: «Который у вас Ферапонтов?», и мы им показывали. Я дал себе решительное слово во что бы то ни стало сблизиться и подружиться с ним. Но как было это сделать? Единственным приятелем и другом Иосафа был и оставался тоже заречный житель, пятиклассный гимназист Мучеников. Малый этот,

весьма тупой на учение, отличался тем, что постоянно ходил в широчайших шальварах, стригся в кружок и накалывал себе сзади шею булавкой для того, чтобы она распухла и казалась более толстою, и все это с единственной целью быть похожим на казака, а не на гимназиста. Каждую перемену между классами они сходились и все время ходили по коридору, разговаривая между собою задушевнейшим образом. Я несколько раз пытался подслушать их беседу. Они толковали то о том, где лучшие места для грибов, то продавали или покупали что-то такое один у другого, и при этом всегда платили друг другу самыми мелкими монетами: денежками, полущками. Оказалось потом, что оба они были птицеловы.

– На конопляное семя лучше всего идет птица! – говорил Мучеников.

– Ну нет! Уж это сколько раз испытано было: овсяная крупа скусней для них всего! – возражал ему басом Иосаф.

– Чижу! – возражал, в свою очередь, Мучеников.

– Не чижу, а вообще всякой птице, – говорил настойчиво Иосаф. – У меня, слава богу!.. Я запасаюсь теперь этим добром! – прибавлял он с удовольствием и вытаскивал из кармана целую пригоршню овсяной крупы, которую они с Мучениковым сейчас же разделяли и тут же ее съедали.

Однажды Иосаф как-то особенно таинственно был вызван своим приятелем из класса. Я потихоньку тоже вышел за ними. Сначала они походили по коридору, поговорили между собой о чем-то шепотом и прошли в физический каби-

нет. Там Мучеников сначала вытащил из своих широчайших штанов какой-то ящичек с дырочками, осторожно открыл его, и из него выпрыгнула мышь на ниточке, потом вынул он оттуда что-то завернутое в бумажку – развернул – оказалось, что это был варганчик, на котором он и начал потихоньку наигрывать, а мышка встала на задние лапки и принялась как бы плясать. Ферাপонтов смотрел на все это с пожирающим вниманием. Меня несколько удивило, что такие большие гимназисты и чем занимаются? Сам я, хотя и был гораздо моложе их, давно уже отстал от всяких детских игр и даже презирал ими...

Так дело шло до пятого класса. К этому времени у Иосафа сильно уже пророс подбородок бороною: середину он обыкновенно пробривал, оставляя на щеках довольно густые бакенбарды, единственные между всеми гимназистами. Раз мне случилось, наконец, идти с ним по одной дороге.

– Ферাপонтов! Зайдите ко мне, – сказал я почти умоляющим голосом.

– Что? Нет-с! Зачем? – отвечал он.

– Мы покурим, потолкуем.

– Я не курю-с.

– Ничего, вы попробуйте! Пожалуйста, зайдите.

– Пожалуй-с, – проговорил, наконец, Иосаф каким-то нерешительным тоном и зашел, но как-то чрезвычайно робко.

Встретившей нас нашей дворовой женщине Авдотье он

поклонился самым почтительным образом, и когда мы вошли в мою комнату, он, кажется, не решался сесть.

– Садитесь, пожалуйста, Ферапонтов, – сказал я и начал старательно выдувать и закуривать для него трубку.

Иосаф два раза курнул и возвратил ее мне.

– Нет-с, горько, я не умею! – сказал он.

– Да вы вот как! – объяснил я ему и, ради поучения его, отчаянно затянулся.

– Я не умею-с, – повторил Иосаф.

Он, видимо, более всего в эту минуту был занят тем, чтобы спрятать под кресло свои дырявые и сильно загрязненные сапоги.

– Послушайте, – сказал я, небрежно разваливаясь на диване, – что вы дома делаете, когда из класса приходите?

– Да что? Уроки учу; ну и по дому тоже кое-что подделаешь.

– А читать вы любите? – спросил я, никак не предполагая, что Иосаф даже не поймет моего вопроса.

– Что читать-с? – спросил он меня самым невиннейшим тоном.

– Повести, романы, вот как этот, – сказал я, показывая на лежавший в то время у меня на столе «Фрегат «Надежда»³, который я только что накануне проглотил с неистовою жадностью.

– Нет-с, я не читывал, – отвечал Ферапонтов.

³ «Фрегат «Надежда» – повесть А.Бестужева-Марлинского (1797—1837).

В это время Авдотья подала нам чай. Иосаф вдруг стал отказываться.

– Отчего же вы не пьете? Пейте! – сказал я.

Ферапонтов, конфузясь, взял чашку, проворно выпил ее и, покрыв, возвратил, неловко раскланиваясь перед Авдотьей.

– Кушайте еще, – сказала та, улыбаясь.

Иосаф окончательно растерялся.

– Пейте, Ферапонтов. Налей! – проговорил я.

Иосаф и эту чашку так же поспешно выпил и, закрыв, возвратил, снова расшаркавшись перед Авдотьей.

– Знаете что, Ферапонтов, – сказал я, решившись ни за что не выпускать из рук нового приятеля, – давайте заниматься вместе по-латыни. Вы вот этак заходите ко мне после класса, и мы станем переводить.

– Хорошо-с, пожалуй, – отвечал, подумавши, Иосаф и взялся за фуражку.

Я предложил ему покурить. Он сделал это, кажется, более для моего удовольствия и ушел.

– Что это у вас какой барин-то был? – сказала мне Авдотья после ухода его.

– Что же? – спросил я.

– Да и на барчика-то совсем не похож, словно лакеишка какой, – решила она.

– Напротив, это славный малый! – возразил я и не счел за нужное объяснять ей более.

Дня через два мы принялись с Ферапонтовым за латынь. Оказалось, что в этом деле он гораздо дальше меня ушел. Знания входили туго в его голову, но, раз уже попавши туда, никогда оттуда не выскакивали: все знакомые ему слова он помнил точнейшим образом, во всех их значениях; таблицы склонений, спряжений, все исключения были у него как на ладони.

Меня, впрочем, в Иосафе интересовал совсем другой предмет, о чем я и решился непременно поговорить с ним.

– А что, Ферапонтов, были вы когда-нибудь влюблены? – спросил я, воспользовавшись одним праздничным послеобедом, когда он пришел ко мне и по обыкновению сидел молча и задумавшись. Сам я был в это время ужасно влюблен в одну свою кузину и даже отрезал себе клочок волос, чтобы похвастаться им перед, Ферапонтовым и сказать, что это подарила мне она.

– Были вы влюблены? – повторил я, видя, что Иосаф покраснел и молчал.

– Нет-с, я не знаю этого... не занимаюсь этим, – отвечал он каким-то недовольным тоном и потом сейчас же поспешил прибавить: – Давайте лучше заниматься-с.

Мы принялись. Иосаф начал с невозмутимым вниманием скандовать стихи, потом разбивал их на предложения, отыскивал подлежащее, сказуемое. Перевод он писал аккуратнейшим почерком, раза два принимался для этого чинить перо, прописывал сполна каждое слово и ставил все грамма-

тические знаки.

«Что это, – думал я, глядя на него, – какой умный малый и не понимает, что такое любовь!»

– Вы, Ферапонтов, конечно, в университет поступите? – спросил я его вслух.

– Нет, где же-с! Я состояния не имею.

– Да вам только доехать до Москвы, а там вас сейчас же примут на казну.

– Нет-с, невозможно это... Я несмелый такой! Где мне! – отвечал он и вздохнул.

Вскоре после этого времени с ним случилась по гимназии новая беда. Приятель его Мучеников, и с виду, как мы знаем, довольно суровый, имел при этом решительно какие-то кровожадные наклонности. Не проходило почти ни одной на площади казни, на которой бы он не присутствовал, и обыкновенно стоял, молодежато подбоченившись рукой, и с каким-то особенным удовольствием прислушивался, как стонал преступник. Во всех кулачных боях между фабричными он непременно участвовал и нередко возвращался оттуда с сильно помятыми боками, но всегда очень довольный. Любимой его прогулкой было ходить на городскую скотобойню и наблюдать там, как убивали скотину. Говорят даже, он иногда сам выпрашивал у мясников топор и собственными руками убивал огромнейших быков.

Не имея, вероятно, долгое время подобных развлечений, он придумал новую штуку: был в гимназии некто малень-

кий и ужасно паршивый гимназистик Красноперов, который, чтобы как-нибудь отбиться от учения, вдруг вздумал притвориться немым: его и упрашивали и лечили; но он показывал только знаки руками, делал гримасы, как бы усиливаясь говорить, но не произносил ни одного звука. Мучеников все это намотал себе на ус и раз, когда они по обыкновению проходили по бульвару с Иосафом домой, впереди их шел именно этот самый гимназистик, очень печальная фигурка, в дырявой шинельке и с сумкой через плечо; но ничто это не тронуло Мученикова.

– Попробуем его! – сказал он вдруг Иосафу, сделав знак глазами.

– Ну нет, что! – отозвался было тот сначала.

– Право, попробуем... – проговорил Мучеников.

Иосаф отвечал на это одной уже только улыбкой, и Мучеников, понагнав Красноперова, стал его приманивать.

– Поди-ка сюда, поди: я тебе пряничка дам! – говорил он, и когда тот, не совсем доверчиво, подошел, он схватил его за шивороток, повернул у себя на колене и, велев Иосафу нарвать тут же растущей крапивы, насовал ее бедному немому за пазуху, под рубашонку, в штанишки, в сапоги, а потом начал его щекотать. Тот закорчился, зашевелился, крапива принялась его жечь во всевозможных местах. Сначала он визжал только на целый бульвар, наконец не вытерпел, заговорил и забранился.

– А! Так ты, bestия, не немой... говоришь! – проговорил

Мучеников и затем, дав своей жертве еще несколько шлепков в зад, отпустил.

Несчастный мальчик, забыв всякую немоту, прибежал к отцу и все рассказал. Тот поехал к директору. Мученикова сейчас же исключили из гимназии, а Иосаф спасся только тем, что был первым учеником. Его, однако, сменили из старших и записали на черную доску.

– Зачем вы это сделали? – спросил я его однажды.

Ферапонтов покраснел.

– Так, черт знает зачем! – отвечал он и потом, помолчав, прибавил, щупая у себя голову: – У меня, впрочем, кажется, есть шишка жестокости. Я, пожалуй, способен убить и себя и кого другого.

Взглянув на его несколько сутуловатую и широкоплечую фигуру, я невольно подумал, что вряд ли он говорит это фразу.

В дальнейшем моем сближении с Ферапонтовым он оставался тем же и, бывая у меня довольно уже часто, по-прежнему или коротко или ничего не отвечал на все мои расспросы, которыми я пробовал его со всех сторон, и только однажды, когда как-то случайно речь зашла о рыбной ловле, он вдруг разговорился.

– Ночь теперь если тихая... – начал он с заметным удовольствием, – вода не колыхнется, как зеркало... Смола на носу лодки горит... огромным таким кажется пламенем... Воду всю освещает до самого дна: как на тарелке все рас-

смотреть можно, каждый камышек... и рыба теперь попадет-ся... спит... щука всегда против воды... ударишь ее острогой... встрепенется... кровь из нее брызнет в воду – розовая такая...

– Вам бы, Ферапонтов, на vacation куда-нибудь в деревню ехать, – перебил я его, решившись тоже напридумать и насказать ему, как и я ловлю рыбу.

– Что деревня! Мы теперь с Мучениковым все равно – почеть что всю vacation дома не живем... Раз так на Афоньковской горе целую неделю с ним жили, – прибавил он с улыбкой.

– Что ж вы делали там?

– Ничего не делали... известно... по ягоды ходим, молока себе потом купим, съедим их с ним. Виды там отличные; верст на шестьдесят кругом видно. Город здешний, как на ладони, да окромя того сел двадцать еще видно.

– А как вы птиц ловите? – спросил я.

– Птицы что!.. Тоже охоту на это надо иметь, – отвечал Иосаф уклончиво.

Я как-то перед тем имел неосторожность посмеяться над его птицеловством, и он постоянно по этому предмету отмалчивался.

Другой раз, это было, впрочем, в седьмом уже классе, Иосаф пришел ко мне, чего с ним прежде никогда не бывало, часу в одиннадцатом ночи. На лице его была написана тревога. С первых же почти слов он спросил меня робким

ГОЛОСОМ:

– А что, можно у вас ночевать?

– Сделайте одолжение. Но что такое с вами, Ферапонтов?

Вы какой-то расстроенный.

Иосаф сначала ничего было мне не отвечал, но я повторил свой вопрос.

– Да так!.. С отцом неудовольствие вышло... пришел пьяный... рассердился на меня да взял мои гусли и разбил топором... на мелкие куски изрубил... а у меня только и забавы по зимам было.

– И что ж вы? Играли на них?

– Играл немного!..

– Кто ж вас учил?

– Кое-что сам дошел, а другое отец дьякон от Преображения поучил... Есть же, господи, такие на свете счастливые люди, – продолжал он с горькой улыбкой, – вон Пеклису отец и скрипку новую купил и учителя нанимает, а мой благоверный родитель только и выискивает, нельзя ли как-нибудь разобидеть... Лучше бы меня избил, как хотел, чем это сделал. Никакого терпенья недостает... бог с ним.

На глазах Иосафа навернулись слезы. Прежде он никогда на отца не жаловался и вообще ничего не говорил о нем. Я стал его утешать, говоря, что ему лучше на чем-нибудь другом выучиться, что нынче на гуслиях никто уже не играет.

– Что ж мне делать, коли у меня ничего другого нет. И то спасибо, после покойного дедушки достались... Берег их

как зеницу ока, а теперь что из них стало?.. Одни щепки!

Всю ночь лотом, как я прислушивался, Иосаф не опал и на другой день куда-то очень рано ушел: вряд ли не приискывать мастера, который бы взялся у него починить гусли.

«Вот чудак-то!» – подумал я, очень еще смутно в то время понимая, что мой высокорослый друг, так уже сильно поросший бородою, был совершенный еще ребенок и в то же время чистейший идеалист.

III

Спустя полгода после выпуска Ферапонтов, как я слышал, поступил в Демидовский лицей. Он пришел для этого в Ярославль пешком, и здесь его, на самых первых порах, выбрали в певчие – петь самую низкую октаву. Это очень заняло Иосафа. Боже мой, с каким нетерпением он обыкновенно поджидал подпраздничной всенощной! Встанет, бывало, на клирос, несколько в глубь его. Церковь между тем начинает наполняться народом. Впереди становятся дамы, хоть и разодетые и раздушенные, но старающиеся придать своим лицам кроткое и постное выражение. За ними следуют купцы с сильно намасленными головами и сзади их лакеи в ливреях или солдаты в своих сермягах. Выходит из алтаря дьякон со свечой и священник с кадилом. Оба они в дорадоровых ризах. Обоняние Иосафа начинает приятно щекотать запах ладана; с каким-то самоуслаждением он тянет свою ноту и в то же время прислушивается к двум мягким и складным тенорам.

Наступившая потом страстная неделя принесла ему еще большие наслаждения. Почти с восторгом он ходил на эти маленькие вечерни. Весеннее солнце, светившее с западной стороны в огромные и уже выставленные окна, обливало всю церковь ярким янтарным блеском, так что синеватые и едва колеблющиеся огоньки зажженных перед иконостасом све-

чей едва мерцали в нем. Говельщики стояли по большей части с потупленными головами: одни из них слегка и едва заметно крестились, а другие, напротив, делали огромные крестные знамена и потом вдруг, ни с того ни с сего начинали до поту лица кланяться в землю. Иосаф вместе с хором пел столь любезные ему песни Дамаскина. «Блюди убо, душе моя, да не сном отяготишися», или «Чертог твой вижду, спасе мой, украшенный» держал он крепко на своей октаве, ни разу не срываясь. Но вот в пятницу вынесли плащаницу. Хор запел: «Не рыдай мене, мати, зряще во гробе». Иосаф, несколько прячась в воротник своей шинели, тоже басил, стараясь смигнуть наворачнувшиеся на глазах слезы. Он чувствовал, что из груди его выходят хотя и низкие, но одушевленные звуки.

Помнил он также и Троицын день. Народу в церкви было яблоку упасть негде: все больше женщины, и все, кажется, такие хорошенькие, все в белых или светло-голубых и розовых платьях и все с букетами в руках благоухающей сирени – прекрасно!

За этими почти единственными, поэтическими для бедного студента, минутами следовала бурсацкая жизнь в казенных номерах, без семьи, без всякого развлечения, кроме вечного долбления профессорских лекций, мрака и смерти преисполненных, так что Иосаф почти несомненно полагал, что все эти мелкие примеры из истории Греции и Рима, весь этот строгий разум математики, все эти толки в риториках

об изящном – сами по себе, а жизнь с колотками в детстве от пьяных папенок, с бестолковой школой в юности и, наконец, с этой вечной бедностью, обрывающей малейший расцвет ваших юношеских надежд, – тоже сама по себе и что между этим нет, да и быть никогда не может, ничего общего.

В этом нравственном полуусыплении не суждено было, однако, Иосафу заглухнуть навсегда: на втором, кажется, курсе он как-то вечером вышел прогуляться к на одной из главных улиц встретил целую ватагу студентов. Впереди всех шел некто своекоштный студент Охоботов, присланный в училище на выучку от Войска Донского и остававшийся в оном лет уже около пяти, так что начальство его, наконец, спросило бумагой училищное начальство: как и что Охоботов и скоро ли, наконец, выучится? Его призвали в совет и спрашивали: что отвечать на это?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.